

У калитки

Постоим тихонько у калитки,
за которой вёрсты пустоты.
Сонный крестовик на тонкой нитке
в паутину кутает кусты.
Низко над землёй летает ворон,
высоко – гнездятся облака.
Жизнь – река, вдоль берега которой
ходит смерть в обличье рыбака.
Ветер вымер, высохший орешник
комарьём и мошками отпет.
Будет час, когда сорняк нездешний
через мглу проклюнется на свет,
оплетёт окрестные долины.

И растают в памяти людской
этот хутор с песней тополиной,
вечным бездорожьем и тоской,
кладбище, часовенка и пашни,
пасека у старого пруда.

Постоим, покуда день вчерашний
будет плыть над нами в никуда.

Мы разъехались, разбежались.
Избы сдвинуты набекрень.
Если время вонзает жало,
если прошлое – только тень,
даже память болит и плачет.
Жизнь – зятая петля.
Ты остался, мой друг, а значит,
не сиротская здесь земля.
Ты впитал её воздух душный,
запах ветра в полях сырых,
сонность осени, прель конюшен,
над которыми дождь затих.
Ты её поднимал с колен – и
не казалась туманной высь.
В почве нет первозданной лени,

просто пахари извелись.
Ты ворчал на неё с досады,
тихой песней ласкал в ночи,
где веками трещат цикады,
как сухие дрова в печи.
И река, понимая ноты,
распевалась всегда с тобой...

Возрождалась земля, чтоб кто-то
смог вернуться опять домой.

Свекровь

Старый двор в затерянной станице.
Гладит небеса уставший взгляд
женщины, с которой породниться
выпало мне много лет назад.
Вот она скрутила листик мяты
и, о чём-то мирно тарахтя,
села. И на лавочке дощатой
вытянула ножки, как дитя.
Личико – мочёная грушовка,
лисий нос, в глазах тепло и дым.

Помнится, меня колола ловко
словом, будто гвоздиком стальным.
Зной кружил над крышами уныло,
и пока в кастрюле грелись щи,
сыну между делом говорила:
«Ты, родной, другую поищи».
Сын смущался, я кривила губы
и крутила пальцем у виска,
слыша, как гудят недружелюбно
сонные мушиные войска.

Но остыла прежняя гордыня,
словно уголь в глиняной печи.
Между нами стол, тарелка с дыней
прямо со свекровиной бахчи.
Злость ушла и больше не тревожит,
сгнула моя дурная прыть.

Я гляжу на сухонькие ножки
той, с которой нечего делить,
на закат, где небо безмятежно
греется и греет до зимы.
Чувствую, как в душу лезет нежность,
и не отмахнуться, чёрт возьми.

В больничной клетке

В больничной клетке ветер дул из окон,
покуда, пеленая солнце в кокон,
январский полдень плыл, не торопясь.
Хромая санитарка из Тамбова
ломала тишину ядрёным словом
и тряпкой по углам гоняла грязь.
Я думала: «Прорвёмся – выпал повод.
Вот только б не вошёл в палаты холод
и врач не нашаманил нам беды.
Вот только б не просили больше денег...
А жить начнём, Алёшка, в понедельник,
когда уйдём из пасмурной среды».

Здесь веяло то плесенью, то скукой.
Я шла из гардероба, мыла руки.
Вот мёд, вот сыр, с ним запах костромской.
И выстрелом казался голос рядом:
«Не нужно, мама, стены мерить взглядом.
Не нужно здесь сидеть. Иди домой».
И было горько, было больно снова.

Мне снилась санитарка из Тамбова.
Она смотрела гневно в пустоту.
Я ей кричала вслед: «Пойми, сестрица,
пройдёт и это. Жизнь нам только снится».
...И просыпалась с криками, в поту.

Мирная держава

Школьный класс, стеллаж – перегородкой,
три окна на юг обращены.
Военрук с квадратным подбородком
говорит о принципах войны.
Бред несёт! Мы – мирная держава.

За окном белеет гастроном:
«Пепси» нет, зато пылится «Ява»,
и портвейна с вермутом полно.
Слева видно краешек больницы
(мы там летом тырим инвентарь).

Военрук цензурно матерится,
пополняя далевский словарь.
Не дорос по службе до комбата,
добродушен, тучен, мешковат,
то хохмит, то смотрит виновато,
теребя потёртый самиздат.

Мы кричим, но он не слышит крика,
как Бетховен, старый и глухой.

Юлька спит, лицом уткнувшись в книгу:
до утра якшалась с гопотой.

Смех вокруг, ведь жизнь, как грипп, заразна,
оттого все счастливы вполне.
Миру – мир! Мы думаем о разном,
не желая думать о войне.

Над пропастью во лжи

Пусть высохнут целебные ручьи,
последний виноградник станет пеплом –
есть сотня основательных причин
не замечать безветрие и пекло,
желать тебя, лелеять миражи,
твоё дыханье чувствовать спиною...

Ты думаешь, над пропастью во лжи
страшнее, чем над пропастью иною?
Нет! Правда хороша, когда она –
печатное издание, которым
скрывают обнажение окна,
пока швея выкраивает шторы.
И даже если всё предрешено –
мы кружим в архимедовой спирали.
И снова будет в амфорах вино,
и полная луна в прохладной дали.

Мама

Много лет не была я в своём городке.
Там скульптура колхозницы с хлебом в руке,
восемь улиц – и вся панорама.
Там от края до края – не край, а дыра,
но в заросшем квадрате большого двора
ждёт меня постаревшая мама.

Помню, ссорились с ней, разгоралась война.
Мамин голос звенел и хлестал докрасна,
достигая намеченной цели.
– Ты к нему не пойдёшь!
– Не удержишь, пойду!
Мы по-женски умели придумать беду.
А потом, обнимаясь, ревели.

– Ты курила!
– Да ну, это пахнет весной.
Отгуляю весну, а потом выпускной.
Гул затихнет, шагну на подмости.
– Ты же девочка! Ветер играет в крови?!
Не гуляй допоздна и лицо не криви.
Ты куда?
– Прошвырнусь до киоска.

Время мчится. Я снова в родимом краю.
«Здравствуй, мама. Гордись, я не пью, не курю».
Убедительно вру, как реклама.
Городок безмятежен, спокоен на вид,
а колхозница с хлебом мне в душу глядит
добродушно и нежно, как мама.

Ростовская слобода

Выйдет месяц из тумана над Ростовской слободой,
где лягушки окаянно голоса наперебой.
Справа – злачные широты, слева – сельский магазин.
В нём резиновые боты, пиво, антикомарин.
Прямо – сотка кукурузы, дальше Ленин-часовой,
и фонарь лежит на пузе с перебитой головой.
Тьмой колхозной помыкая, свет рубя напололам,
ночь ползёт глухонемая по незапертым дворам.
Поглядишь, как звезды пшёнкой сыплет небо на крыльцо,
тяпнешь рюмку самогонки с молодильным огурцом
и, укутавшись рогожей, будешь спать мертвецким сном,
ни секунды не тревожась, не жалея ни о ком.

Спи, Алёша, в сладкой хмари, мучай храпом слободу.
Спи, покуда Змей Тугарин не собрал свою орду.

Хрущёвский двор

Хрущёвки. Август.
Зреет облако, грозитя ливнем за версту.
Луна, как пуговка из войлока, пришита к звёздному холсту.
До одуренья пахнет сливами и дымом сонного костра.
Скрипят качели сиротливые в тени заросшего двора.
Подростки пыль сметают с лавочек, окурки прячут в бересклет.
На проводке танцует лампочка, треща, разбрызгивает свет.
А рядом дед, хлебнув анисовки, остекленело смотрит вдаль,
как будто важное и близкое в погасших окнах увидал.
Крадется счастье предосеннее. Горчит покой, как старый мёд.

Двор на меня глядит рассеянно, вздыхает

и
не
узнаёт.

Ожерелье

В прошлой жизни я был цыганом: пил вино, воровал любовь.
Помню, как-то в запале пьяном, за плетнями тверских дворов,
в кабаке, где тянуло прелью и гудело полсотни рыл,
я жемчужное ожерелье дочке конюха подарил.
Пошутил: «В нём душа живая, только ныне укрыта сном.
А разбудишь (сама не зная) – мы, бедовые, совпадём.
В каждом веке найдём друг друга, будем вместе в любых мирах», –
И ушёл... И скулила вьюга, как собака скулит впотьмах.

Сотня лет с той поры минула. Не кочую – свой дом, жена,
на парковке – седан сутулый, в чубе – ранняя седина.
А на сердце свинец и тучи: чувства есть, да всегда не в масть.
Но недавно мне выпал случай с проводницей одной совпасть.
Мы, обнявшись, летели в бездну, а потом поднимались ввысь.
Было жарко в купе и тесно. И разгульно пьянила жизнь.
Пахло волей, полынью, Тверью, проводницей, сырым бельём.
И мерещилось ожерелье на горячей груди её!